

Призвана жить долго...

Как-то по телевидению был показан сюжет: корреспондент спрашивает у школьников, гуляющих рядом с памятником Маршалу Советского Союза Г. К. Жукову, что стоит в центре Москвы: «Кто этот всадник на коне?» Ребята не знают, что ответить... Вина это или беда мальчишек-подростков? Конечно же, беда.

Сегодня, когда более полувека прошло после окончания Великой Отечественной войны и уходят все дальше и дальше в глубь истории события тех героических лет, становится страшно от того, что вырастает молодое поколение, «не помнящее родства».

Жуков говорил о том, что необходимо донести до последующих поколений героический дух войны. Вот для чего в первую очередь, как мне кажется, и писал он свои воспоминания.

«Время не имеет власти над величием всего, что мы пережили в войну, — скажет Маршал, — а народ, переживший однажды большие испытания, будет и впредь черпать силы в этой Победе».

Около десяти лет трудился отец над воспоминаниями. Принимая во внимание, что он был в опале, постоянно подвергался травле, был болен и многое-многое другое, можно назвать создание книги его вторым подвигом. Выход в свет в 1969 году объемистого тома в красной суперобложке был настоящим событием в нашей стране. Ветераны поставили «Воспоминания и размышления» на первое место среди мемуаров о Великой Отечественной войне. Именно им, живым и павшим солдатам, их великому подвигу, их мужеству, храбрости, героизму, безграничной самоотверженности во имя Родины, во имя будущих поколений посвятил свою книгу Маршал.

Когда в апреле 1969 года книга появилась на книжных прилавках Москвы, первый тираж в 100 тысяч экземпляров был раскуплен мгновенно. К Дому книги на Калининском проспекте (Новом Арбате) тянулась очередь от кинотеатра «Октябрь». В книжном магазине на улице Кирова (Мясницкой) разгоряченная толпа покупателей высадила витрины и пошла насквозь. Пришлось вызывать конную милицию.

В провинции же, где купить книгу было почти невозможно, люди, как писали в многочисленных письмах Жукову, стояли в очереди в библиотеки по полгода и больше, зачитывали ее до дыр.

Маршал Советского Союза А. М. Василевский писал: «Успех книги объясняется ее глубокой патриотичностью, масштабностью и объективностью освещения исторических событий, очевидцем и участником которых был ее автор, выдающийся полководец и военачальник...»

Есть книги-однодневки. Выйдут в свет, найдут своего читателя, выполняют свою задачу и предаются забвению. Книга Г. К. Жукова призвана жить долго...»

В своих воспоминаниях редактор книги Анна Давыдовна Миркина пишет: «На Маршала Жукова был оказан огромный прессинг. В то время, когда господствовала беспощадная идеологическая цензура, и не могло быть иначе... Многие позиции удалось отстоять, но в некоторых случаях Г. К. Жуков вынужден был отступить, иначе книга не вышла бы в свет. В этом легко убедиться, сличив текст 1-го издания 1969 года с вышедшим в 1989 году без купюр 10-м изданием, дополненным по рукописи автора. В оригинале рукописи вымарывались целые страницы, абзацы, фразы изменялись так, что теряли свой смысл. Всего было выброшено около 100 машинописных страниц».

К подготовке второго издания отец приступил летом 1969 года. Получив около десяти тысяч писем читателей, он решил дополнить и доработать книгу. Я помню, как письма эти привозили к нему на дачу мешками, и мы всей семьей — с мамой и бабушкой — разбирали их, читали, сортировали, подчеркивали для отца главные мысли. К письмам читателей, их оценкам, замечаниям и дополнениям отец относился очень серьезно. Исправления касались в первую очередь фактического материала. Вот один пример: «Вы ошибаетесь, уважаемый Георгий Константинович, — писал подполковник в отставке Г. И. Васильев, — генерал-лейтенант К. П. Подлас командовал в то время 57-й армией, а не 6-й, как это у вас сказано на стр. 398». — «Надо исправить», — помечает отец.

Для второго издания он написал три новые главы: «Ставка Верховного Главнокомандования», «Ликвидация Ельнинского выступа противника», «Борьба за Ленинград» — и переработал «Заключение». Помимо этого, во все главы были внесены новые данные, документы, расширено описание различных операций Великой Отечественной войны. Книга увеличилась в объеме, стала двухтомной.

В апреле 1974 года, за два месяца до смерти, Маршал подписал верстку второго издания — в последний раз держал в руках свой многолетний труд. Двухтомник вышел уже без него.

За тридцать с лишним лет, что прошло с тех пор, как впервые вышла в свет книга Г. К. Жукова, она выдержала уже 14 изданий.

Книга издана в тридцати странах на восемнадцати языках тиражом более семи миллионов экземпляров. По высказываниям многочисленных читателей и зарубежной прессы, мемуары Маршала Жукова были признаны бестселлером. На суперобложке штутгартского издания «ДФА» (ФРГ) написано: «Один из величайших документов нашей эпохи».

Конечно, теперь уже, по прошествии стольких лет, ясно, что книга требует комментариев, уточнений, объяснений. Тем более, что при подготовке рукописи к публикации ни один военный специалист не согласился редактировать книгу Г. К. Жукова. Тогда это могло стоить карьеры... Но этим, на мой взгляд, должны заняться профессионалы — военные историки.

Мария Георгиевна ЖУКОВА

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Не один год работал я над книгой «Воспоминания и размышления». Хотелось отобрать из обширного жизненного материала, из множества событий и встреч наиболее существенное и важное, такое, что по достоинству могло бы раскрыть величие дел и свершений народа нашего.

Но хотя прошло уже много лет после описываемых событий, наверное, и сегодня еще нельзя точно сказать, что именно из пережитого и виденного несет на себе отпечаток вечности.

Пусть извинят меня товарищи по оружию, если я не сумел всем им воздать должное. Есть еще время, и еще многие напишут и расскажут о них...

В подготовке этого издания мне помогали ряд товарищей. Хотелось бы выразить свою благодарность генералам и офицерам Военно-научного управления Генерального штаба Советских Вооруженных Сил и Института военной истории, начальникам отделов Министерства обороны СССР полковнику Никите Ефимовичу Терещенко и полковнику Петру Яковлевичу Добровольскому, а также редакторам издательства агентства печати «Новости» Анне Давыдовне Миркиной, Виктору Александровичу Ерохину и всем тем, кто подготовил мою рукопись к печати...

*Г. Жуков
10 февраля 1969 г.*

TOM I

Глава 1

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ

На склоне лет своих трудно вспомнить все, что было в жизни. Годы, дела и события выветрились из памяти многое, особенно относящееся к детству и юности. Запомнилось лишь то, что забыть нельзя.

Дом в деревне Стрелковке Калужской губернии, где я родился 19 ноября (по старому стилю) 1896 года, стоял посредине деревни. Был он очень старый и одним углом крепко осел в землю. От времени стены и крыша обросли мохом и травой. Была в доме всего одна комната в два окна.

Отец и мать не знали, кем и когда был построен наш дом. Из рассказов старожиллов было известно, что в нем когда-то жила бездетная вдова Аннушка Жукова. Чтобы скрасить свое одиночество, она взяла из приюта двухлетнего мальчика — моего отца. Кто были его настоящие родители, никто сказать не мог, да и отец потом не старался узнать свою родословную. Известно только, что мальчика в возрасте трех месяцев оставила на пороге сиротского дома какая-то женщина, приложив записку: «Сына моего зовите Константином». Что заставило бедную женщину бросить ребенка на крыльцо приюта, сказать невозможно. Вряд ли она пошла на это из-за отсутствия материнских чувств, скорее всего — по причине своего безвыходно тяжелого положения.

После смерти приемной матери, едва достигнув восьмилетнего возраста, отец пошел в ученье к сапожнику в большое село Угодский Завод. Он рассказывал потом, что ученье сводилось в основном к домашней работе. Приходилось и хозяйских детей нянчить, и скот пасти. «Проучившись» таким образом года три, отец отправился искать другое место. Пешком добрался до Москвы, где в конце концов устроился в сапожную мастерскую Вейса. У Вейса был и собственный магазин модельной обуви.

Я не знаю подробностей, но, по рассказам отца, он в числе многих других рабочих после событий 1905 года был уволен и выслан из Москвы за участие в демонстрациях. С того времени и по день

своей смерти в 1921 году отец безвыездно жил в деревне, занимаясь сапожным делом и крестьянскими работами.

Мать моя, Устинья Артемьевна, родилась и выросла в соседней деревне Черная Грязь в крайне бедной семье.

Когда отец и мать поженились, матери было тридцать пять, а отцу — пятьдесят¹. У обоих это был второй брак. После первого брака оба рано овдовели.

Мать была физически очень сильным человеком. Она легко поднимала с земли пятипудовые мешки с зерном и переносила их на значительное расстояние. Говорили, что она унаследовала физическую силу от своего отца — моего деда Артема, который подлезал под лошадь и поднимал ее или брал за хвост и одним рывком сажал на круп.

Тяжелая нужда, ничтожный заработок отца на сапожной работе заставляли мать подрабатывать на перевозке грузов. Весной, летом и ранней осенью она трудилась на полевых работах, а поздней осенью отправлялась в уездный город Малоярославец за бакалейными товарами и возила их торговцам в Угодский Завод. За поездку она зарабатывала рубль — рубль двадцать копеек. Ну какой это был заработок? Если вычесть расходы на корм лошадям, ночлег в городе, питание, ремонт обуви и т. п., то оставалось очень мало. Я думаю, нищие за это время собирали больше.

Однако делать было нечего, такова была тогда доля бедняцкая, и мать трудилась безропотно. Многие женщины наших деревень поступали так же, чтобы не умереть с голоду. В непролазную грязь и стужу возили они грузы из Малоярославца, Серпухова и других мест, оставляя малолетних детей под присмотром бабушек и дедушек, еле передвигавших ноги.

Большинство крестьян наших деревень жили в бедности. Земли у них было мало, да и та неурожайная. Полевыми работами занимались главным образом женщины, старики и дети. Мужчины работали в Москве, Петербурге и других городах на отхожем промысле. Получали они мало — редкий мужик приезжал в деревню с хорошим заработком в кармане.

Конечно, были в деревнях и богатые крестьяне — кулаки. Тем жилось неплохо: у них были большие светлые дома с уютной обстановкой, на дворах много скота и птицы, а в амбарах — большие запасы муки и зерна. Их дети хорошо одевались, сытно ели и учились в лучших школах. На этих людей в основном трудились бедняки наших деревень, часто за нищенскую плату — кто за хлеб, кто за корм, кто за семена.

¹ После смерти Г. К. Жукова были обнаружены церковные книги с записью о венчании родителей будущего полководца. Возраст невесты — 26 лет, жениха — 41 год. — *Прим. ред.*

Мы, дети бедняков, видели, как трудно приходится нашим матерям, и горько переживали их слезы. И какая бывала радость, когда из Малоярославца привозили нам по баранке или прянику! Если же удавалось скопить немного денег к Рождеству или Пасхе на пироги с начинкой, тогда нашим восторгам не было границ!

Когда мне исполнилось пять лет, а сестре Маше шел седьмой год, мать родила еще мальчика, которого назвали Алексеем. Был он очень худенький, и все боялись, что он не выживет. Мать плакала и говорила:

— А от чего же ребенок будет крепкий? С воды и хлеба, что ли?

Через несколько месяцев после родов она вновь решила ехать в город на заработки. Соседи отговаривали ее, советовали поберечь мальчика, который был еще очень слаб и нуждался в материнском молоке. Но угроза голода всей семье заставила мать уехать, и Алеша остался на наше попечение. Прожил он недолго: меньше года. Осенью похоронили его на кладбище в Угодском Заводе. Мы с сестрой, не говоря уже об отце с матерью, очень горевали об Алеше и часто ходили к нему на могилку.

В том году нас постигла и другая беда: от ветхости обвалилась крыша дома.

— Надо уходить отсюда, — сказал отец, — а то нас всех придавит. Пока тепло, будем жить в сарае, а потом видно будет. Может, кто-нибудь пустит в баню или ригу.

Я помню слезы матери, когда она говорила нам:

— Ну что ж, делать нечего, таскайте, ребята, все барахло из дома в сарай.

Отец смастерил маленькую печь для готовки, и мы обосновались в сарае, как могли.

На «новоселье» к отцу пришли его приятели и начали шутить:

— Что, Костюха, говорят, ты с домовым не поладил, выжил он тебя?

— Как не поладил? — сказал отец. — Если бы не поладил, он нас наверняка придавил бы.

— Ну что ты думаешь делать? — спросил Назарыч, сосед и приятель отца.

— Ума не приложу...

— А чего думать, — вмешалась мать, — надо корову брать за рога и вести на базар. Продадим ее и сруб купим. Не успеешь оглянуться, как пройдет лето, а зимой какая же стройка...

— Верно говорит Устинья, — загалдели мужики.

— Верно-то верно, но одной коровы не хватит, — сказал отец, — а у нас, кроме нее, только лошадь старая.

На это никто не отозвался, но всем было ясно, что самое тяжелое для нас еще впереди.

Через некоторое время отцу удалось где-то по сходной цене, да еще в рассрочку, купить небольшой сруб. Соседи помогли нам перевезти его, и к ноябрю дом был построен. Крышу покрыли соломой.

— Ничего, поживем и в этом, а когда разбогатеем, построим лучше, — сказала мать.

С наружной стороны дом выглядел хуже других: крыльцо было сбито из старых досок, окна застеклены осколками. Но мы все были очень рады, что к зиме будем иметь свой теплый угол, а что касается тесноты, то, как говорится, в тесноте, да не в обиде.

С осени 1902 года мне пошел седьмой год. Рано наступившая зима для нашей семьи оказалась очень тяжелой. Год выдался неурожайный, и своего зерна хватило только до середины декабря. Заработки отца и матери уходили на хлеб, соль и уплату долгов. Спасибо соседям, они иногда нас выручали то щами, то кашей. Такая взаимопомощь в деревнях была не исключением, а скорее традицией дружбы и солидарности русских людей, живших в тяжелой нужде.

С наступлением весны дела немного наладились, так как на редкость хорошо ловилась рыба в реках Огублянке и Протве. Огублянка — небольшая речка, мелководная и сильно заросшая тиной. Выше деревни Костинки, ближе к селу Болотскому, где речка брала свое начало из мелких ручейков, места были очень глубокие, там и водилась крупная рыба. В Огублянке, особенно в районе нашей деревни и соседней деревни Огуби, было много плотвы, окуня и линя, которого мы ловили главным образом корзинами. Случались очень удачные дни, и я делился рыбой с соседями за их щи и кашу.

Нам, ребятам, особенно нравилось ходить ловить рыбу на Протву, в район Михалевых гор. Дорога туда шла через густую липовую рощу и чудесные березовые перелески, где было немало земляники и полевой клубники, а в конце лета — много грибов. В этой роще мужики со всех ближайших деревень драли лыко для лаптей, которые у нас называли «выходные туфли в клетку».

Сейчас рощи и перелесков нет — их вырубил немецкие оккупанты, а после Отечественной войны колхоз распахал землю под посевы.

Однажды летом отец сказал:

— Ну, Егор, ты уже большой — скоро семь, пора тебе браться за дело. Я в твои годы работал не меньше взрослого. Возьми грабли, завтра поедем на сенокос, будешь с Машей растрясать сено, сушить его и сгребать в копны.

Мне нравилось сенокос, на который меня часто брали с собой старшие. Но теперь я ехал туда с сознанием, что отправляюсь не забавляться, как это бывало раньше. Я гордился, что теперь сам участвую в труде и становлюсь полезным семье. На других подводах видел своих товарищей-одногодков, также с граблями в руках.

Работал я с большим старанием, и мне было приятно слышать похвалу старших. Но, кажется, перестарался: на ладонях быстро по-

явились мозоли. Мне было стыдно в этом признаться, и я терпел до последней возможности. Наконец мозоли прорвались, и я уже не мог больше грести.

— Ничего, пройдет! — сказал отец.

Лоскутом он перевязал мне ладони. Несколько дней я не мог работать граблями и только помогал сестре носить и складывать сено в копны. Ребята надо мной посмеивались. Но через несколько дней я вновь вошел в строй и работал не хуже их.

Когда подошла пора уборки хлебов, мать сказала:

— Пора, сынок, учиться жать. Я тебе купила в городе новенький серп. Завтра утром пойдем жать рожь.

Жатва пошла неплохо, но скоро меня опять постигла неудача. Желая блеснуть своими успехами, я поторопился, резанул серпом по мизинцу левой руки. Мать сильно перепугалась, я тоже. Соседка, тетка Прасковья, которая оказалась рядом, приложила к пальцу лист подорожника и крепко перевязала его тряпицей.

Сколько лет с тех пор прошло, а рубец на левом мизинце сохранился и напоминает мне о первых неудачах на сельскохозяйственном фронте...

Быстро прошло трудовое лето. Я уже приобрел навык в полевых работах и окреп физически.

Близилась осень 1903 года, и для меня наступала ответственная пора. Ребята — мои одноклассники — готовились идти в школу. Готовился и я. По букварю сестры старался выучить печатные буквы. Из нашей деревни этой осенью должны были пойти в школу еще пять ребят, в их числе мой закадычный друг Лешка Колотырный. «Колотырный» — это было его прозвище, а настоящая фамилия — Жуков. Жуковых в нашей деревне было пять дворов. Однофамильцев различали по именам матерей. Нас звали Устиньины, других — Авдотьины, третьих — Татьянины и т. д.

Учиться нам предстояло в церковно-приходской школе, которая была в деревне Величково, в полутора километрах от нас. Там учились ребята из четырех окрестных деревень — Лыково, Величково, Стрелковки и Огуби.

Некоторым ребятам родители купили ранцы, и они хвастались ими. Мне и Лешке вместо ранцев сшили из холстины сумки. Я сказал матери, что сумку носят нищие и с ней ходить в школу не буду.

— Когда мы с отцом зарабатываем деньги, обязательно купим тебе ранец, а пока ходи с сумкой.

В школу меня отвела сестра Маша. Она училась уже во втором классе. В нашем классе набралось 15 мальчиков и 13 девочек.

После знакомства с нами учитель рассадил всех по партам. Девочек посадил с левой стороны, мальчиков — с правой. Я очень хотел сидеть с Колотырным. Но учитель сказал, что вместе посадить нас нельзя, так как Леша не знает ни одной буквы и к тому же маленький

ростом. Его посадили на первую парту, а меня — на самую последнюю. Лешка мне сказал, что постарается поскорее выучить все буквы, чтобы нам обязательно сидеть вместе. Но этого так и не случилось. Леша постоянно был в числе отстающих. Его часто за незнание уроков оставляли в классе после занятий, но он был на редкость безропотным парнем и не обижался на учителей.

Учителем в школе был Сергей Николаевич Ремизов, опытный педагог и хороший человек. Он зря никого не наказывал и никогда не повышал голоса на ребят. Ученики его уважали и слушались.

Отец Сергея Николаевича, тихий и добрый старичок, был священником и преподавал в нашей школе Закон Божий.

Сергей Николаевич, как и его брат Николай Николаевич — врач, был безбожник и в церковь ходил только ради приличия. Оба брата пели в церковном хоре. У меня и у Лешки Колотырного были хорошие голоса, и нас обоих включили в школьный хор.

Во второй класс все ребята нашей деревни перешли с хорошими отметками, и только Лешу, несмотря на нашу коллективную помощь, не перевели — по Закону Божьему у него была двойка.

Моя сестра училась тоже плохо и осталась во втором классе на второй год. Отец с матерью решили, что ей надо бросать школу и браться за домашнее хозяйство. Маша горько плакала и доказывала, что она не виновата и осталась на второй год только потому, что пропустила много уроков, ухаживая за Алешей, когда мать уезжала в извоз. Я заступался за сестру и говорил, что другие родители тоже работают, ездят в извоз, но своих детей никто из школы не берет и все подружки сестры будут продолжать учебу. В конце концов мать согласилась. Маша была очень довольна, и я был рад за нее.

Нам было жаль мать, мы с сестрой своим детским умом понимали, что ей очень трудно. К тому же отец, который был в это время на заработках в Москве, стал очень редко и мало присылать нам денег. Раньше он высылал матери два-три рубля в месяц, а в последнее время — когда придет рубль, а когда и того меньше. Соседи говорили, что не только наш отец, но и другие рабочие в Москве стали плохо зарабатывать.

Помню, в конце 1904 года отец приехал в деревню. Мы с сестрой очень обрадовались и все ждали, когда он нам даст московские гостинцы.

Но отец сказал, что ничего на сей раз привезти не смог. Он приехал прямо из больницы, где пролежал после операции аппендицита двадцать дней, и даже на билет взял взаймы у товарищей.

Отца моего уважали в деревне, считались с его мнением. Обычно на сходках, собраниях последнее слово принадлежало ему. Я очень любил отца, и он меня баловал. Но бывали случаи, когда отец строго наказывал меня за какую-нибудь провинность и даже бил шпандырем (сапожный ремень), требуя, чтобы я просил прощения. Но я был

упрям — и сколько бы он ни бил меня — терпел, но прощения не просил.

Один раз он задал мне такую порку, что я убежал из дому и трое суток жил в конопле у соседа. Кроме сестры, никто не знал, где я. Мы с ней договорились, чтобы она меня не выдавала и носила мне еду. Меня всюду искали, но я хорошо замаскировался. Случайно меня обнаружила в моем убежище соседка и привела домой. Отец еще мне добавил, но потом пожалел и простил.

Помню, как-то отец был в хорошем настроении и взял меня с собой в трактир пить чай. Трактир был в соседней деревне Огуби. Его владелец, деревенский богатей Никифор Кулагин, торговал разными бакалейными товарами. Мужчины и молодежь любили собираться в трактире, где можно было поговорить о новостях, сыграть в лото, карты и выпить по какому-либо поводу, а то и без всякого повода.

Мне понравилось пить чай в трактире среди взрослых, рассказывавших интересные истории о Москве и Петербурге. Я сказал отцу, что всегда буду ходить с ним и слушать, что они там говорят.

В трактире работал половым брат моей крестной матери Прохор. У него было что-то неладно с ногой, и все звали его хромым Прошкой. Несмотря на свою хромоту, Прохор был страстным охотником. Летом он стрелял уток, а зимой ходил на зайца, у нас их тогда было великое множество.

Прохор часто брал меня с собой. Охота доставляла мне огромное удовольствие. Особенно я радовался, когда он убивал зайца из-под моего загона. За уткой мы ходили на Огублянку или на озеро. Обычно Прохор стрелял без промаха. В мою обязанность входило доставать из воды уток.

Я и до сего времени страстно люблю охоту. Возможно, что любовь к ней привил мне в детские годы Прохор.

Отец скоро вновь отправился в Москву. Перед отъездом он рассказал матери, что в Москве и Питере участились забастовки рабочих, доведенных безработицей и жестокой эксплуатацией до отчаяния.

— Ты, отец, не лезь не в свое дело, а то и тебя жандармы сошлют туда, куда Макар телят не гонял, — говорила мать.

— Наше дело рабочее, куда все, туда и мы.

После отъезда отца мы долго ничего не слышали о нем и сильно беспокоились.

Скоро мы узнали, что в Питере 9 января 1905 года царские войска и полиция расстреляли мирную демонстрацию рабочих, которая шла к царю с петицией просить лучших условий жизни.

Весной того же 1905 года в деревнях все чаще и чаще стали появляться неизвестные люди — агитаторы, призывавшие народ на борьбу с помещиками и царским самодержавием.

У нас в деревне дело не дошло до активного выступления крестьян, но брожение среди них было большое. Крестьяне знали о по-

литических стачках, баррикадных боях и Декабрьском вооруженном восстании в Москве. Знали, что восстание рабочих Москвы и других городов России было жестоко подавлено царским правительством и многие революционеры, вставшие во главе рабочего класса, зверски уничтожены, заточены в крепости или сосланы на каторгу. Слышали и о Ленине — выразителе интересов рабочих и крестьян, вожде партии большевиков, партии, которая хочет добиться освобождения трудового народа от царя, помещиков и капиталистов.

Все эти сведения привозили в деревню наши односельчане, работавшие в Москве, Питере и других городах России.

В 1906 году возвратился в деревню отец. Он сказал, что в Москву больше не поедет, так как полиция запретила ему жить в городе, разрешив проживание только в родной деревне. Я был доволен тем, что отец вернулся насовсем.

В том же году я окончил трехклассную церковно-приходскую школу. Учился во всех классах на отлично и получил похвальный лист. В семье все были очень довольны моими успехами, да и я был рад. По случаю успешного окончания школы мать подарила мне новую рубаху, а отец сам сшил сапоги.

— Ну вот, теперь ты грамотный, — сказал отец, — можно будет везти тебя в Москву учиться ремеслу.

— Пусть поживет в деревне еще годик, а потом отвезем в город, — заметила мать. — Пускай подрастет немножко...

С осени 1907 года мне пошел двенадцатый год. Я знал, что это моя последняя осень в родном доме. Пройдет зима, а потом надо идти в «люди». Я был очень загружен работой по хозяйству. Мать часто ездила в город за грузом, а отец с раннего утра до поздней ночи сапожничал. Заработок его был исключительно мал, так как односельчане из-за нужды редко могли с ним расплатиться. Мать часто ругала отца за то, что он так мало брал за работу.

Когда же отцу удавалось неплохо заработать на шитье сапог, он обычно возвращался из Угодского Завода подвыпившим. Мы с сестрой встречали его на дороге, и он всегда вручал нам гостинцы — баранки или конфеты.

Зимой в свободное от домашних дел время я чаще всего ходил на рыбалку, катался на самодельных коньках на Огублянке или на лыжах с Михалевых гор.

Наступило лето 1908 года. Сердце мое щемило при мысли, что скоро придется оставить дом, родных, друзей и уехать в Москву. Я понимал, что, по существу, мое детство кончается. Правда, прошедшие годы можно было лишь условно назвать детскими, но на лучшее я не мог рассчитывать.

Помню, как в один из вечеров собрались на нашей завалинке соседи. Зашла речь об отправке ребят в Москву. Одни собирались везти своих детей в ближайшие дни, другие хотели подождать еще год-два.

Мать сказала, что отвезет меня после ярмарки, которая бывала у нас через неделю после Троицына дня. Лешу Колотырного уже отдали в ученье в столярную мастерскую, хозяином которой был богач из нашей деревни Мурашкин.

Отец спросил, какое ремесло думаю изучить. Я ответил, что хочу в типографию. Отец сказал, что у нас нет знакомых, которые могли бы помочь определить меня в типографию. И мать решила, что она будет просить своего брата Михаила взять меня в скорняжную мастерскую. Отец согласился, поскольку скорняки хорошо зарабатывали. Я же был готов на любую работу, лишь бы быть полезным семье.

В июле 1908 года в соседнюю деревню Черная Грязь приехал брат моей матери Михаил Артемьевич Пилихин. О нем стоит сказать несколько слов.

Михаил Пилихин, как и моя мать, рос в бедности. Одиннадцати лет его отдали в ученье в скорняжную мастерскую. Через четыре с половиной года он стал мастером. Михаил был очень бережлив и сумел за несколько лет скопить деньги и открыть свое небольшое дело. Он стал хорошим мастером-меховщиком и приобрел много богатых заказчиков, которых обдирал немилосердно.

Пилихин постепенно расширял мастерскую, довел число рабочих-скорняков до восьми человек и, кроме того, постоянно держал еще четырех мальчиков-учеников. Как тех, так и других эксплуатировал беспощадно. Так он сколотил капитал примерно в пятьдесят тысяч рублей.

Вот этого своего брата мать и упросила взять меня в ученье. Она сходила к нему в деревню Черная Грязь, где он проводил лето, и, вернувшись, сказала, что брат велел привести меня к нему познакомиться. Отец спросил, какие условия предложил Пилихин.

— Известно какие, четыре с половиной года мальчиком, а потом будет мастером.

— Ну что ж, делать нечего, надо вести Егорку к Михаилу.

Через два дня мы с отцом пошли в деревню Черная Грязь. Подходя к дому Пилихиных, отец сказал:

— Смотри, вон сидит на крыльце твой будущий хозяин. Когда подойдешь, поклонись и скажи: «Здравствуйте, Михаил Артемьевич».

— Нет, я скажу: «Здравствуйте, дядя Миша!» — возразил я.

— Ты забудь, что он тебе доводится дядей. Он — твой будущий хозяин, а богатые хозяева не любят бедных родственников. Это ты заруби себе на носу.

Подойдя к крыльцу, на котором, развалившись в плетеном кресле, сидел дядя Миша, отец поздоровался и подтолкнул меня вперед. Не ответив на приветствие, не подав руки отцу, Пилихин повернулся ко мне. Я поклонился и сказал:

— Здравствуйте, Михаил Артемьевич!

— Ну, здравствуй, молодец! Что, скорняком хочешь быть?

Я промолчал.

— Ну что ж, дело скорняжное хорошее, но трудное.

— Он трудностей не должен бояться, к труду привычен с малых лет, — сказал отец.

— Грамоте обучен?

Отец показал мой похвальный лист.

— Молодец! — сказал дядя, а затем, повернув голову к двери, крикнул:

— Эй, вы, оболтусы, идите сюда!

Из комнаты вышли его сыновья Александр и Николай, хорошо одетые и упитанные ребята, а затем и сама хозяйка.

— Вот смотрите, башибузуки, как надо учиться, — сказал дядя, показывая им мой похвальный лист, — а вы все на тройках катаетесь.

Обратившись наконец к отцу, он сказал:

— Ну что ж, пожалуй, я возьму к себе в ученье твоего сына. Парень он крепкий и, кажется, неглупый. Я здесь проживу несколько дней. Потом поеду в Москву, но с собой его взять не смогу. Через неделю едет брат жены Сергей, вот он и привезет его ко мне.

На том мы и расстались.

Я был очень рад, что поживу в деревне еще неделю.

— Ну, как вас встретил мой братец? — спросила мать.

— Известно, как нашего брата встречают хозяева.

— А чайком не угостил?

— Он даже не предложил нам сесть с дороги, — ответил отец. — Он сидел, а мы стояли, как солдаты. — И зло добавил: — Нужен нам его чай, мы с сынком сейчас пойдем в трактир и выпьем за свой трудовой пятак.

Мать сунула мне баранку, и мы зашагали к трактиру..

Сборы в Москву были недолгими. Мать завернула пару белья, пару портянок и полотенце, дала на дорогу пяток яиц да лепешек. Помолвившись, присели по старинному русскому обычаю на лавку.

— Ну, сынок, с Богом! — сказала мать и, не выдержав, горько заплакала, прижав меня к себе.

Я видел, что у отца покраснели глаза и пробежали по щекам слезинки. И я чуть-чуть не заревел, но удержался.

До Черной Грязи мы с матерью шли пешком. По этой дороге я раньше ходил в школу и в лес за ягодами и грибами.

— Помнишь, мать, как вот на этой полоске, около трех дубов, когда мы с тобой жали, я разрезал себе мизинец?

— Помню, сынок. Матери всегда помнят о том, что было с их детьми. Плохо поступают дети, когда они забывают своих матерей.

— Со мной, мать, этого не случится! — твердо сказал я.

Когда мы с дядей Сергеем сели в поезд, полил проливной дождь. В вагоне стало темно. Одна сальная свечка едва освещала узкий проход вагона третьего класса. Поезд тронулся, за окном замелькали темные очертания лесов и огоньки далеких деревень.

Раньше мне не приходилось ездить в поездах, и я никогда не видел железной дороги. Поэтому поездка эта произвела на меня огромное впечатление. Проехали станцию Балабаново. Вдруг вдали показались какие-то ярко освещенные многоэтажные здания.

— Дядя, что это за город? — спросил я у пожилого мужчины, стоявшего у окна вагона.

— Это не город, паренек. Это наро-фоминская ткацкая фабрика Саввы Морозова. На этой фабрике я проработал 15 лет, — грустно сказал он, — а вот теперь не работаю.

— Почему? — спросил я.

— Долго рассказывать... здесь я похоронил жену и дочь.

Я видел, как он побледнел и на минуту закрыл глаза.

— Каждый раз, проезжая мимо проклятой фабрики, не могу спокойно смотреть на это чудовище, поглотившее моих близких...

Он вдруг отошел от окна, сел в темный угол вагона и закурил, а я продолжал смотреть в сторону «чудовища», которое «глочет» людей, но не решался спросить, как это происходит.

В Москву мы приехали на рассвете. Ехали более четырех часов. Сейчас это расстояние поезд проходит за час с небольшим. Вокзал меня ошеломил. Все страшно спешили к выходу, толкаясь локтями, корзинами, сумками, сундучками. Я не понимал, почему все так топятся.

— Ты рот не разевай, — сказал мой провожатый. — Здесь тебе не деревня, здесь ухо остро нужно держать.

Наконец мы выбрались на привокзальную площадь.

Возле трактира, несмотря на ранний час, шла бойкая торговля сбитнем, лепешками, пирожками с ливером, требухой и прочими яствами, которыми приезжие могли подкрепиться за недорогую цену. Идти к хозяину было еще рано, и мы решили отправиться в трактир. Около трактира стояли лужи воды и грязи, на тротуаре и прямо на земле примостились пьяные оборванцы. В трактире громко играла музыка, я узнал мелодию знакомой песни «Шумел, горел пожар московский». Некоторые посетители, успев подвыпить, нестройно подтягивали.

Выйдя из трактира, мы отправились на Большую Дорогомиловскую улицу и стали ждать конку. Тогда еще по этой улице не ходил трамвай, он вообще только что появился в Москве. При посадке на конку, в спешке и суете, поднимавшийся впереди по лесенке мужчина нечаянно сильно задел меня каблуком по носу. Из носа пошла кровь.

— Говорил тебе, смотри в оба! — сердито прикрикнул дядя Сергей.

А дядька сунул мне кусок тряпки и спросил:

— Из деревни, что ли? В Москве надо смотреть выше носа, — добавил он.

Вокзальная площадь и окрестные улицы не произвели на меня особого впечатления. Домишки тут были маленькие, деревянные, об-

лезлые. Дорогомиловская улица грязная, мостовая с большими выбоинами, много пьяных, большинство людей плохо одеты.

Но по мере приближения к центру вид города все больше менялся: появлялись большие дома, нарядные магазины, лихие рысаки. Я был как в тумане, плохо соображал и был как-то подавлен. Я никогда не видел домов выше двух этажей, мощеных улиц, извозчиков в колясках с надутыми шинами, или, как их звали, «лихачей», мчавшихся с большой скоростью на красавцах орловских рысаках. Не видел я никогда и такого скопления людей на улицах. Все это поражало воображение, и я молчал, рассеянно слушая своего провожатого.

Мы повернули к Большой Дмитровке и сошли с конки на углу Камергерского переуллка.

— Вот дом, где ты будешь жить, — сказал мне дядя Сергей, — а во дворе помещается мастерская, там будешь работать. — Парадный вход в квартиру с Камергерского переуллка, но мастера и мальчики ходят только с черного хода, со двора. Запоминай хорошенько, — продолжал он, — вот Кузнецкий Мост, здесь находятся самые лучшие магазины Москвы. Вот это театр Зимина, но там рабочие не бывают. Прямо и направо Охотный Ряд, где торгуют зеленью, дичью, мясом и рыбой. Туда ты будешь бегать за покупками для хозяйки.

Пройдя большой двор, мы подошли к работавшим здесь людям, поздоровались с мастерами, которых дядя Сергей уважительно называл по имени и отчеству.

— Вот, — сказал он, — привез из деревни вам в ученье нового мальчика.

— Мал больно, — заметил кто-то, — не мешало бы ему немного подрасти.

— Сколько тебе лет, парень? — спросил высокий человек.

— Двенадцать.

— Ладно, пусть мал ростом, зато у него плечи широкие, — сказал, улыбаясь, высокий.

— Ничего, будет хорошим скорняком, — ласково добавил мастер-старичок.

Это был Федор Иванович Колесов, самый справедливый, как я потом убедился, опытный и авторитетный из всех мастеров.

Отведя меня в сторону, дядя Сергей стал называть по имени каждого мастера и мальчика и рассказывать о них.

Я хорошо запомнил братьев Мишиных.

— Старший брат — хороший мастер, но здорово пьет, — говорил дядя Сергей, — а вот этот, младший, очень жаден до денег. Говорят, что он завтракает, обедает и ужинает всего лишь на десять копеек. Все о своем собственном деле мечтает. А это вот Михаил, он частенько пьет запоем. После полочки два-три дня пьет беспробудно. Способен пропить последнюю рубашку и штаны, но мастер — золотые руки. Вот, — дядя Сергей показал на высокого мальчика, — это стар-

ший мальчик, твой непосредственный начальник, зовут его Кузьмой. Через год он будет мастером. А вон тот, курчавый, — это Григорий Матвеев из деревни Трубино, он тебе доводится дальним родственником.

Поднявшись по темной и грязной лестнице на второй этаж, мы вошли в мастерскую.

Вышла хозяйка, поздоровалась и сказала, что хозяина сейчас нет, но скоро должен быть.

— Пойдем, покажу тебе расположение комнат, а потом будешь на кухне обедать.

Хозяйка подробно объяснила мне будущие обязанности — обязанности самого младшего ученика — по уборке помещений, чистке обуви хозяев и их детей, показала, где и какие лампы у икон, когда и как их надо зажигать и так далее.

— Ну, а остальное тебе объяснят Кузьма и старшая мастерица Матреша.

Потом Кузьма, старший мальчик, позвал меня на кухню обедать. Я здорово проголодался и с аппетитом принялся за еду. Но тут случился со мной непредвиденный казус. Я не знал существовавшего порядка, по которому вначале из общего большого блюда едят только щи без мяса, а под конец, когда старшая мастерица постучит по блюду, можно взять кусочек мяса. Сразу выловил пару кусочков мяса, с удовольствием их проглотил и уже начал вылавливать третий, как неожиданно получил ложкой по лбу, да такой удар, что сразу образовалась шишка.

Я был сконфужен тем, что за полдня пребывания в Москве уже дважды оказался битым.

Старший мальчик Кузьма оказался очень хорошим парнем.

— Ничего, терпи, коли будут бить, — сказал он мне после обеда, — за одного битого двух небитых дают.

В тот же день Кузьма повел меня в ближайшие лавки, куда предстояло ходить за табаком и водкой для мастеров. Кухарка (она же старшая мастерица) Матреша показала, как чистить и мыть посуду и разводить самовар.

С утра следующего дня меня посадили в углу мастерской и сказали, чтобы я прежде всего научился шить мех. Старшая мастерица снабдила меня иглкой, нитками и наперстком. Показав технику шитья, она сказала:

— Если что-либо не будет получаться, подойди ко мне, я тебе покажу, как надо шить.

Я усердно принялся за свои первые трудовые уроки.

Работать мастера начинали ровно в семь часов утра и кончали в семь вечера, с часовым перерывом на обед. Следовательно, рабочий день длился одиннадцать часов, а когда случалось много работы, мастера задерживались до десяти-одиннадцати часов вечера. В этом

случае рабочий день доходил до пятнадцати часов в сутки. За сверхурочные они получали дополнительную сдельную плату.

Мальчики-ученики всегда вставали в шесть утра. Быстро умывшись, мы готовили рабочие места и все, что нужно было мастерам для работы. Ложились спать в одиннадцать вечера, все убрав и подготовив к завтрашнему дню. Спали тут же, в мастерской, на полу, а когда было очень холодно, — на полатах в прихожей с черного хода.

Поначалу я очень уставал. Трудно было привыкнуть поздно ложиться спать. В деревне мы обычно ложились очень рано. Но со временем втянулся и стойчески переносил нелегкий рабочий день.

Первое время очень скучал по деревне и дому. Я вспоминал милые и близкие сердцу рощи и перелески, где так любил бродить с Прохором на охоте, ходить с сестрой за ягодами, грибами, хворостом. У меня сжималось сердце и хотелось плакать. Я думал, что никогда уже больше не увижу мать, отца, сестру и товарищей. Домой на побывку мальчиков отпускали только на четвертом году, и мне казалось, что время это никогда не наступит.

По субботам Кузьма водил нас в церковь ко всенощной, а в воскресенье — к заутрене и к обедне. В большие праздники хозяин брал нас с собой к обедне в Кремль, в Успенский собор, а иногда в храм Христа Спасителя. Мы не любили бывать в церкви и всегда старались удрать оттуда под каким-либо предлогом. Однако в Успенский собор ходили с удовольствием — слушать великолепный синодальный хор и специально протодьякона Розова: голос у него был, как иерихонская труба.

Минул год. Я довольно успешно освоил начальный курс скорняжного дела, хотя оно далось мне не без труда. За малейшую оплошность хозяин бил нас немилосердно. А рука у него была тяжелая. Били нас мастера, били мастерицы, не отставала от них и хозяйка. Когда хозяин был не в духе — лучше не попадайся ему на глаза. Он мог и без всякого повода отлупить так, что целый день в ушах звенело.

Иногда хозяин заставлял двух провинившихся мальчиков бить друг друга жимолостью (кустарник, прутьями которого выбивали меха), приговаривая при этом: «Лупи крепче, крепче!» Приходилось безропотно терпеть.

Мы знали, что везде хозяева бьют учеников, — таков был закон, таков порядок. Хозяин считал, что ученики отданы в полное его распоряжение и никто никогда с него не спросит за побои, за нечеловеческое отношение к малолетним. Да никто и не интересовался, как мы работаем, как питаемся, в каких условиях живем. Самым высшим для нас судьей был хозяин. Так мы и тянули тяжелое ярмо, которое и не каждому взрослому было под силу.

Время шло. Мне исполнилось тринадцать лет, и я уже многому научился в мастерской. Несмотря на большую загруженность, все

же находил возможность читать. Я всегда с благодарностью вспоминаю своего учителя Сергея Николаевича Ремизова, привившего мне страсть к книгам. Учиться мне помогал старший сын хозяина, Александр. Мы с ним были одноклассники, и он относился ко мне лучше других.

Поначалу с его помощью я прочитал роман «Медицинская сестра», увлекательные истории о Нате Пинкертоне, «Записки о Шерлоке Холмсе» Конан Дойла и ряд других приключенческих книжек, изданных в серии дешевой библиотечки. Это было интересно, но не очень-то поучительно. А я хотел учиться серьезно. Но как? Я поделился с Александром. Он одобрил мои намерения и сказал, что будет помогать.

Мы взялись за дальнейшее изучение русского языка, математики, географии и чтение научно-популярных книг. Занимались обычно вдвоем, главным образом когда не было дома хозяина и по воскресеньям. Но как мы ни прятались от хозяина, он все же узнал о наших занятиях. Я думал, что он меня выгонит или крепко накажет. Однако против ожидания он похвалил нас за разумное дело.

Так больше года я довольно успешно занимался самостоятельно и поступил на вечерние общеобразовательные курсы, которые давали образование в объеме городского училища.

В мастерской мною были довольны, доволен был и хозяин, хотя нет-нет да и давал мне пинка или затрещину. Вначале он не хотел отпускать меня вечерами на курсы, но потом его уговорили сыновья, и он согласился. Я был очень рад. Правда, уроки приходилось готовить ночью на полатах, около уборной, где горела дежурная лампочка десятка в два свечей.

За месяц до выпускных экзаменов, как-то в воскресенье, когда хозяин ушел к приятелям, мы сели играть в карты. Играли, как помнится, в «двадцать одно». Не заметили, как вернулся хозяин и вошел в кухню. Я держал банк, мне везло. Вдруг кто-то дал мне здоровую оплеуху. Я оглянулся и – о, ужас – хозяин! Ошеломленный, я не мог произнести ни слова. Ребята бросились врассыпную.

– Ах, вот для чего тебе нужна грамота! Очки считать? С этого дня никуда больше не пойдешь, и чтоб Сашка не смел с тобой заниматься!

Через несколько дней я зашел на курсы, которые помещались на Тверской улице, и рассказал о случившемся. Учиться мне оставалось всего лишь месяц с небольшим. Надо мной посмеялись и разрешили сдавать экзамены. Экзамены за полный курс городского училища я выдержал успешно.

Шел 1911 год. Я уже три года проработал в мастерской и перешел в разряд старших мальчиков. Теперь и у меня в подчинении было три мальчика-ученика. Хорошо знал Москву, так как чаще других приходилось разносить заказы в разные концы города. Желание про-

должать учебу меня не оставляло, но к этому не было никакой возможности. Однако читать все же ухитрялся.

Газеты брал после мастера Колесова, который был политически грамотнее других. Журналы давал мне Александр, книжки покупал сам на сэкономленные «трамвайные» деньги. Пошлет, бывало, хозяин отвезти меха какому-либо заказчику в Марьину Рошу или Замоскворечье, даст пятачок или гривенник на конку, а я взвалю мешок с мехами на спину и айда пешком, а монету сберегу на книжку.

На четвертом году ученья меня, как физически более крепкого мальчика, взяли в Нижний Новгород на знаменитую ярмарку, где хозяин снял себе лавку для оптовой торговли мехами. К тому времени он сильно разбогател, завязал крупные связи в торговом мире и стал еще жаднее.

На ярмарке в мою обязанность входили главным образом упаковка проданного товара и отправка его по назначению через городскую пристань на Волге, пристань на Оке или через железнодорожную товарную контору.

Впервые я увидел Волгу и был поражен ее величием и красотой — до этого я не знал рек шире и полноводнее Протвы и Москвы. Это было ранним утром, и Волга вся искрилась в лучах восходящего солнца. Я смотрел на нее и не мог оторвать восхищенного взгляда.

«Теперь понятно, — подумал я, — почему о Волге песни поют и матушкой ее величают».

На Нижегородскую ярмарку съезжались торговцы и покупатели со всей России. Туда везли свои товары и «заморские купцы» из других государств. Сама ярмарка располагалась за городом между Нижним и Канавином, в низкой долине, которая во время весеннего паводка сплошь заливалась водой.

На Нижегородскую ярмарку собиралось великое множество всякого люда, стремящегося подработать кто честным трудом, а кто — темными делами. Туда, как воронье, слетались вору, проститутки, жулики и разные аферисты.

После Нижегородской ярмарки в том же году пришлось поехать на другую ярмарку, в Урюпино, в область Войска Донского. Туда хозяин не поехал, а послал приказчика Василия Данилова. О ярмарке в Урюпине у меня не осталось таких ярких воспоминаний, как о Нижнем Новгороде и Волге. Урюпино был довольно грязный городишко, и ярмарка там по своим масштабам была невелика.

Приказчик Василий Данилов был человек жестокий и злой. До сих пор не могу понять, почему он с какой-то садистской страстью наносил побои четырнадцатилетнему мальчику по самому малейшему поводу. Однажды я не вытерпел, схватил «ковырок» (дубовая палка для упаковки) и со всего размаха ударил его по голове. От этого удара он упал и потерял сознание. Я испугался, думал, что убил его, и убежал из лавки. Однако все обошлось благополучно.

Когда мы возвратились в Москву, он пожаловался хозяину. Хозяин, не вникнув в суть дела, жестоко избил меня.

В 1912 году мне посчастливилось получить десятидневный отпуск в деревню. В то время там начался покос — самый интересный вид полевых работ. На покос приезжали из города мужчины и молодежь, чтобы помочь женщинам быстрее справиться с уборкой трав и заготовкой кормов на зиму.

Из деревни я уехал почти ребенком, а приехал в отпуск взрослым юношей. Мне уже шел шестнадцатый год, я был ученик по четвертому году. Многих за это время не стало в деревне — кто умер, кого отправили в ученье, кто ушел на заработки. Кого-то я не узнавал, а кто-то не узнавал меня. Одних согнула тяжкая жизнь, преждевременная старость, другие за это время выросли, стали взрослыми.

В деревню я ехал дачным малоярославецким поездом. Всю дорогу от Москвы до полустанка Оболенское простоял у открытого окна вагона. Когда четыре года назад я ехал в Москву, была ночь, и я почти не видел местность вдоль железной дороги. Сейчас с интересом рассматривал станционные сооружения, изумительной красоты подмосковные леса и перелески.

Когда проезжали мимо станции Наро-Фоминск, какой-то человек сказал своему соседу:

— До пятого года я здесь часто бывал... Вон видишь красные кирпичные корпуса? Это и есть фабрика Саввы Морозова.

— Говорят, он демократ, — сказал второй.

— Буржуазный демократ, но, говорят, неплохо относится к рабочим. Зато его администрация — псы лютые.

— Одна шайка-лейка! — зло сказал сосед.

Заметив, что я с интересом слушаю (припомнив разговор в вагоне об этой же фабрике, который я слышал несколько лет назад), они замолчали.

На полустанке Оболенское меня встретила мать. Она очень изменилась за эти четыре года и состарилась. Что-то сжало мне горло, и я еле сдержался, чтобы не разрыдаться. Мать долго плакала, прижимала меня шершавыми и мозолистыми руками и все твердила:

— Дорогой мой! Сынок! Я думала, что умру, не увидев тебя.

— Ну, что ты, мама, видишь, как я вырос, теперь тебе будет легче.

— Дай-то Бог!

Домой мы приехали уже затемно. Отец и сестра поджидали нас на завалинке. Сестра выросла и стала настоящей невестой. Отец сильно постарел и еще больше согнулся. Ему шел семидесятый год. Он как-то по-своему встретил меня. Поцеловались. Думая о чем-то своем, он сказал:

— Хорошо, что дожил. Вижу, ты теперь взрослый, крепкий.

Чтобы скорее порадовать своих стариков и сестру, я распаковал корзину и вручил каждому подарок, а матери, кроме того, три рубля денег, два фунта сахара, полфунта чая и фунт конфет.

— Вот спасибо, сынок! — обрадовалась мать. — Мы уже давно не пили настоящий чай с сахаром.

Отцу я дал еще рубль на трактирные расходы.

— Хватило бы ему и двадцати копеек, — заметила мать.

Отец сказал:

— Я четыре года ждал сынка, не омрачай нашей встречи разговором о нужде.

Через день мы с матерью и сестрой поехали на покос. Я рад был увидеть товарищей, особенно Лешу Колотырного. Все ребята здорово выросли. В начале косьбы что-то у меня не ладилось. Я уставал, потел, видимо, сказывался четырехлетний перерыв. Потом все пошло хорошо, косил чисто, не отставая от других, но во рту все пересохло, и я еле дотянул до отдыха.

— Как, Егорушка, нелегко крестьянский труд? — спросил меня дядя Назар, обняв за мокрые плечи.

— Труд нелегкий, — согласился я.

— А вот англичане траву косят машинами, — заметил подошедший к нам молодой мужик, которого я раньше не знал.

— Да, — сказал Назар, — мы все надеемся на соху-матушку да на косу. Эх, дубинушка, ухнем...

Я спросил у ребят, кто этот мужик, что говорил насчет машин.

— Это Николай Жуков — сын старосты. Его выслали из Москвы за пятый год. Он очень острый на язык, даже царя ругает.

— Ничего, — сказал Леша, — за глаза царя ругать можно, но только чтобы не слышали полиция или шпики.

Солнце припекало все сильнее. Косьбу прекратили, начали сушить скошенную траву. К полудню мы с сестрой, навьючив сено на телегу, взобрались на воз и поехали домой. Нас уже ждали жареная картошка с маслом и чай с сахаром. Все это было тогда так аппетитно!..

Вечерами, забыв об усталости, молодежь собиралась около амбара, и начиналось веселье. Пели песни, задушевные и проникновенные. Девушки выводили сильными голосами нежную мелодию, ребята старались вторить молодыми баритонами и еще не окрепшими басами. Потом плясали до упаду. Расходились под утро и едва успевали заснуть, как нас будили, и мы вновь отправлялись на покос. Вечером все начиналось сначала. Трудно сказать, когда мы спали.

Да, видно, молодость все может. Как хорошо чувствовать себя молодым!

Отпуск прошел очень быстро, и нужно было возвращаться в Москву. В предпоследнюю ночь моего пребывания дома в соседней деревне Костинке случился пожар. Дул сильный ветер. Пожар начался посредине деревни и стал быстро распространяться на соседние дома, сараи и амбары. Мы еще гуляли, когда заметили со стороны Костинки густой дым.

Кто-то крикнул:

— Пожар!

Все бросились в пожарный сарай, быстро выкатили бочку и потащили ее на руках в Костинку. Наша помощь подоспела первой, даже пожарная команда Костинки пришла позднее.

Пожар был очень сильный, и, несмотря на отчаянные усилия пожарных команд, которые собрались из соседних сел, выгорело полдеревни.

Пробегая с ведром воды мимо одного дома, я услышал крик:

— Спасите, горим!

Бросился в тот дом, откуда раздавались крики, и вытащил испуганных до смерти детей и большую старуху.

Наконец огонь потушили. На пепелище причитали женщины, плакали дети. Много людей осталось без крова и без всякого имущества, а некоторые и без куска хлеба.

Наутро я обнаружил две прожженные дырки, каждую величиной с пятак, на моем новом пиджаке — подарке хозяина перед отпуском (таков был обычай).

— Ну, хозяин тебя не похвалит, — сказала мать.

— Что ж, — ответил я, — пусть он рассудит, что важнее: пиджак или ребята, которых удалось спасти...

Уезжал я с тяжелым сердцем. Особенно тягостно было смотреть на пожарище, где копались несчастные люди. Бедняги искали, не уцелело ли чего. Я сочувствовал их горю, так как сам знал, что значит остаться без крова.

В Москву приехал рано утром. Поздоровавшись с хозяином, рассказал о пожаре в деревне и показал прожженный пиджак. К моему удивлению, он даже не выругал меня, и я был благодарен ему за это.

Потом оказалось, что мне просто повезло. Накануне хозяин очень выгодно продал партию мехов и на этом крепко заработал.

— Если бы не это, — сказал Федор Иванович, — быть тебе выдранному как сидоровой козе.

В конце 1912 года мое ученичество кончилось. Я стал молодым мастером (подмастерьем). Хозяин спросил, как я думаю дальше жить: останусь ли на квартире при мастерской или пойду на частную квартиру?

— Если останешься при мастерской и будешь по-прежнему есть на кухне с мальчиками, то зарплата тебе будет десять рублей, если пойдешь на частную квартиру, тогда будешь получать восемнадцать рублей.

Жизненного опыта у меня было маловато, и я сказал, что буду жить при мастерской. Видимо, хозяина это вполне устраивало, так как по окончании работы мастеров для меня всегда находилась какая-либо срочная, не оплачиваемая работа. Прошло немного времени, и я решил: «Нет, так не пойдет. Уйду на частную квартиру, а вечерами лучше читать буду».

На Рождество я вновь съездил в деревню, уже самостоятельным человеком. Мне шел 17-й год, а самое главное — я был мастером, получавшим целых десять рублей, а это далеко не всем тогда удавалось.

Хозяин доверял мне, видимо, убедившись в моей честности. Он часто посылал меня в банк получать по чекам или вносить деньги на его текущий счет. Ценил он меня и как безотказного работника и часто брал в свой магазин, где, кроме скорняжной работы, мне поручалась упаковка грузов и отправка их по товарным конторам.

Мне нравилась такая работа больше, чем в мастерской, где, кроме ругани между мастерами, не было слышно других разговоров. В магазине — дело другое. Здесь приходилось вращаться среди более или менее интеллигентных людей, слышать их разговоры о текущих событиях.

Мастера мало читали газеты, и, кроме Колесова, никто в нашей мастерской не разбирался в политических делах. Думаю, что так же обстояло дело и в других скорняжных мастерских. Никакого профсоюза скорняков тогда не было, и каждый был предоставлен самому себе. Только позднее организовался союз кожевников, куда вошли и скорняки.

Поэтому неудивительно, что скорняки отличались тогда своей аполитичностью. Исключение составляли одиночки. Мастер-скорняк жил своими интересами, у каждого был свой мирок. Некоторые всякими правдами и неправдами сколачивали небольшой капиталец и стремились открыть собственное дело. Скорняки, портные и другие рабочие мелких кустарных мастерских заметно отличались от заводских, фабричных рабочих, от настоящих пролетариев своей мелкобуржуазной идеологией и отсутствием крепкой пролетарской солидарности.

Заводские рабочие не могли и мечтать о своем деле. Для этого нужны были большие капиталы. А они получали гроши, которых едва-едва хватало на пропитание. Условия труда, постоянная угроза безработицы объединяли рабочих на борьбу с эксплуататорами.

Политическая работа большевистской партии сосредоточивалась тогда в среде промышленного пролетариата. Среди рабочих кустарных мастерских подвизались меньшевики, эсеры и прочие псевдореволюционеры. Не случайно в 1905 году и во время Великой Октябрьской революции в рядах восставшего пролетариата было мало кустарей.

В 1910–1914 годах заметно оживились революционные настроения. Все чаще и чаще стали вспыхивать стачки в Москве, Питере и других промышленных городах. Участились сходки и забастовки студентов. В деревне нужда дошла до предела в результате разразившегося в 1911 году голода.

Как ни плоха была политическая осведомленность мастеров-скорняков, все же мы знали о расстреле рабочих на Ленских приисках

и повсеместном нарастании революционного брожения. Федору Ивановичу Колесову изредка удавалось доставать большевистские газеты «Звезда» и «Правда», которые просто и доходчиво объясняли, почему непримиримы противоречия между рабочими и капиталистами, между крестьянами и помещиками, доказывали общность интересов рабочих и деревенской бедноты.

В то время я слабо разбирался в политических вопросах, но мне было ясно, что эти газеты отражают интересы рабочих и крестьян, а газеты «Русское слово» и «Московские ведомости» — интересы хозяев царской России, капиталистов. Когда я приезжал в деревню, я уже сам мог кое-что рассказать и объяснить своим товарищам и нашим мужикам.

Начало Первой мировой войны запомнилось мне погромом иностранных магазинов в Москве. Агентами охраны и черносотенцами под прикрытием патриотических лозунгов был организован погром немецких и австрийских фирм. В это были вовлечены многие, стремившиеся попросту чем-либо поживиться. Но так как эти люди не могли прочесть вывески на иностранных языках, то заодно громили и другие иностранные фирмы — французские, английские.

Под влиянием пропаганды многие молодые люди, особенно из числа зажиточных, охваченные патриотическими чувствами, уходили добровольцами на войну. Александр Пилихин тоже решил бежать на фронт и все время уговаривал меня.

Вначале мне понравилось его предложение, но все же я решил посоветоваться с Федором Ивановичем — самым авторитетным для меня человеком. Выслушав меня, он сказал:

— Мне понятно желание Александра, у него отец богатый, ему есть из-за чего воевать. А тебе, дураку, за что воевать? Уж не за то ли, что твоего отца выгнали из Москвы, не за то ли, что твоя мать с голоду пухнет?.. Вернешься калекой — никому не будешь нужен.

Эти слова меня убедили, и я сказал Саше, что на войну не пойду. Обругав меня, он вечером бежал из дому на фронт, а через два месяца его привезли в Москву тяжело раненным.

В то время я по-прежнему работал в мастерской, но жил уже на частной квартире в Охотном Ряду, против теперешней гостиницы «Москва». Снимал за три рубля в месяц койку у вдовы Малышевой. Дочь ее Марию я полюбил, и мы решили пожениться. Но война, как это всегда бывает, спутала все наши надежды и расчеты. В связи с большими потерями на фронте в мае 1915 года был произведен досрочный призыв молодежи рождения 1895 года. Шли на войну юноши, еще не достигшие двадцатилетнего возраста. Подходила и моя очередь.

Особого энтузиазма я не испытывал, так как на каждом шагу в Москве встречал несчастных калек, вернувшихся с фронта, и тут же видел, как рядом по-прежнему широко и беспечно жили сынки

богачей. Они разъезжали по Москве на «лихачах», в шикарных выездах, играли на скачках и бегах, устраивали пьяные оргии в ресторане «Яр». Однако считал, что, если возьмут в армию, буду честно драться за Россию.

Мой хозяин, ценивший меня по работе, сказал:

— Если хочешь, я устрою так, что тебя оставят на год по болезни и, может быть, оставят по чистой.

Я ответил, что вполне здоров и могу идти на фронт.

— Ты что, хочешь быть таким же дураком, как Саша?

Я сказал, что по своему долгу обязан защищать Родину. На этом разговор был закончен и больше не возникал.

В конце июля 1915 года был объявлен досрочный призыв в армию молодежи моего года рождения. Я отпраился у хозяина съездить в деревню попрощаться с родителями, а заодно и помочь им с уборкой урожая.

Глава 2

СЛУЖБА СОЛДАТСКАЯ

Призывался я в своем уездном городе Малоярославце Калужской губернии 7 августа 1915 года. Первая мировая война уже была в полном разгаре.

Меня отобрали в кавалерию, и я был очень рад, что придется служить в коннице. Я всегда восхищался этим романтическим родом войск. Все мои товарищи попали в пехоту, и многие завидовали мне.

Через неделю всех призванных вызвали на сборный пункт. Нас распределили по командам, и я расстался со своими земляками-одногодками. Кругом были люди незнакомые, такие же безусые ребята, как и я.

Вечером нас погрузили в товарные вагоны и повезли к месту назначения — в город Калугу. Впервые за все время я так сильно почувствовал тоску и одиночество. Кончилась моя юность. «Готов ли я нести нелегкую службу солдата, а если придется, идти в бой?» — мысленно задавал себе вопрос. Жизнь закалила меня, и свой солдатский долг, я полагал, сумею выполнить с честью.

Товарные вагоны, куда нас поместили по сорок человек в каждый, не были приспособлены для перевозки людей, поэтому пришлось всю дорогу стоять или сидеть прямо на грязном полу. Кто пел песни, кто резался в карты, кто плакал, изливая душу соседям. Некоторые сидели, стиснув зубы, неподвижно уставившись в одну точку, думая о будущей своей солдатской судьбе.

В Калугу прибыли ночью. Разгрузили нас где-то в тупике на товарной платформе. Раздалась команда: «Становись!», «Равняйся!». И мы зашагали в противоположном направлении от города. Кто-то спросил у ефрейтора, куда нас ведут. Ефрейтор, видимо, был хороший человек, он нам душевно сказал:

— Вот что, ребята, никогда не задавайте таких вопросов начальству. Солдат должен безмолвно выполнять приказы и команды, а куда ведут солдата — про то знает начальство.

Как бы в подтверждение его слов в голове колонны раздался зычный голос начальника команды:

— Прекратить разговоры в строю!

Коля Сивцов, мой новый приятель, толкнул меня локтем и прошептал:

— Ну вот, начинается служба солдатская.

Шли мы часа три и порядком уже устали, когда остановились на малый привал. Приближался рассвет, сильно клонило ко сну, и, как только присели на землю, сразу же отовсюду послышался храп.

Однако скоро опять раздалась команда: «Становись!» Мы вновь зашагали вперед и через час пришли в лагерный городок. Разместили нас в бараке на голых нарах. Сказали, что можем отдохнуть до 7 часов утра. Здесь уже находилось около ста человек. В многочисленные щели и битые окна дул ветер. Но даже эта «вентиляция» не помогала. «Дух» в бараке стоял тяжелый.

После завтрака нас построили и объявили, что мы находимся в 189-м запасном пехотном батальоне. Здесь будет формироваться команда 5-го запасного кавалерийского полка. До отправления по назначению будем обучаться пехотному строю.

Нам выдали учебные пехотные винтовки. Отделенный командир ефрейтор Шахворостов объявил внутренний распорядок и наши обязанности. Он строго предупредил, что, кроме как «по нужде», никто из нас не может никуда отлучаться, если не хочет попасть в дисциплинарный батальон... Говорил он отрывисто и резко, сопровождая каждое слово взмахом кулака. В маленьких глазках его светилась такая злоба, как будто мы были его заклятыми врагами.

— Да, — говорили солдаты, — от этого фрукта добра не жди...

Затем к строю подошел старший унтер-офицер. Наш ефрейтор скомандовал: «Смирно!»

— Я ваш взводный командир Малявко, — сказал старший унтер-офицер. — Надеюсь, вы хорошо поняли, что объяснил отделенный командир, а потому будете верно служить царю и отечеству. Самоволия я не потерплю!

Начался первый день строевых занятий. Каждый из нас старался хорошо выполнить команду, тот или иной строевой прием или действие оружием. Но угодить начальству было нелегко, а тем более дожидаться поощрения. Придравшись к тому, что один солдат сбился с ноги, взводный задержал всех на дополнительные занятия. Ужинали мы холодной бурдой самыми последними.

Впечатление от первого дня было угнетающим. Хотелось скорее лечь на нары и заснуть. Но, словно разгадав наши намерения, взводный приказал построиться и объявил, что завтра нас выведут

на общую вечернюю поверку, а потому мы должны сегодня разучить государственный гимн «Боже, царя храни!». Разучивание и спевка продолжались до ночи. В 6 часов утра мы были уже на ногах, на утренней зарядке.

Дни потянулись однообразные, как две капли воды похожие один на другой. Подошло первое воскресенье. Думали отдохнуть, выкупаться, но нас вывели на уборку плаца и лагерного городка. Уборка затянулась до обеда, а после «мертвого часа» чистили оружие, чинили солдатскую амуницию и писали письма родным. Ефрейтор предупредил, что жаловаться в письмах ни на что нельзя, так как цензура все равно не пропустит.

Втягиваться в службу было нелегко. Но жизнь нас и до этого не баловала, и недели через две большинство привыкло к армейским порядкам.

В конце второй недели обучения наш взвод был представлен на смотр ротному командиру — штабс-капитану Володину. Говорили, что он сильно пил и, когда бывал пьян, лучше было не попадаться ему на глаза. Внешне наш ротный ничем особенно не отличался от других офицеров, но было заметно, что он без всякого интереса проверяет нашу боевую подготовку. В заключение смотра он сказал, чтобы мы больше старались, так как «за Богом молитва, а за царем служба не пропадут».

До отправления в 5-й запасный кавалерийский полк мы видели нашего ротного командира еще пару раз, и, кажется, он оба раза был навеселе. Что касается командира 189-го запасного батальона, то мы его за все время нашего обучения так и не увидели.

В сентябре 1915 года нас отправили на Украину в 5-й запасный кавалерийский полк. Располагался он в городе Балаклея Харьковской губернии. Миновав Балаклею, наш эшелон был доставлен на станцию Савинцы, где готовились маршевые пополнения для 10-й кавалерийской дивизии. На платформе нас встретили подтянутые, одетые с иголочки кавалерийские унтер-офицеры и вахмистры. Одни были в гусарской форме, другие — в уланской, третьи — в драгунской.

После разбивки мы, малоярославецкие, москвичи и несколько ребят из Воронежской губернии, были определены в драгунский эскадрон.

Нам было досадно, что мы не попали в гусары и, конечно, не только потому, что у гусар была более красивая форма. Нам говорили, что там были лучшие и, главное, более человечные унтер-офицеры. А ведь от унтер-офицеров в царской армии целиком зависела судьба солдата.

Через день нам выдали кавалерийское обмундирование, конское снаряжение и закрепили за каждым лошадь. Мне попалась очень строптивая кобылица темно-серой масти по кличке Чашечная.

Служба в кавалерии оказалась интереснее, чем в пехоте, но значительно труднее. Кроме общих занятий, прибавились обучение

конному делу, владению холодным оружием и трехкратная уборка лошадей. Вставать приходилось уже не в 6 часов, как в пехоте, а в 5, ложиться также на час позже.

Труднее всего давалась конная подготовка, то есть езда, вольтижировка и владение холодным оружием — пикой и пашкой. Во время езды многие до крови растирали ноги, но жаловаться было нельзя. Нам говорили лишь одно: «Терпи, казак, атаманом будешь». И мы терпели до тех пор, пока не уселись крепко в седла.

Взводный наш, старший унтер-офицер Дураков, вопреки своей фамилии, оказался далеко не глупым человеком. Начальник он был очень требовательный, но солдат никогда не обижал и всегда был сдержан. Зато другой командир, младший унтер-офицер Бородавко, был ему полной противоположностью: крикливый, нервный и крайне дерзкий на руку. Старослужащие говорили, что он не раз выбивал солдатам зубы.

Особенно беспощаден он был, когда руководил ездой. Мы это хорошо почувствовали во время кратковременного отпуска нашего взводного. Бородавко, оставшись за взводного, развернулся вовсю. И как только он не издевался над солдатами! Днем гонял до упаду на занятиях, куражась особенно над теми, кто жил и работал до призыва в Москве, поскольку считал их «грамотеями» и слишком умными. А ночью по нескольку раз проверял внутренний наряд, ловил заснувших дневальных и избивал их. Солдаты были доведены до крайности.

Сговорившись, мы как-то подкараулили его в темном углу и, накинув ему на голову попону, избили до потери сознания. Не миновать бы всем нам военно-полевого суда, но тут вернулся наш взводный, который все уладил, а затем добился перевода Бородавко в другой эскадрон.

К весне 1916 года мы были в основном уже подготовленными кавалеристами. Нам сообщили, что будет сформирован маршевый эскадрон и впредь до отправления на фронт мы продолжим обучение в основном по полевой программе. На наше место прибывали новобранцы следующего призыва, а нас готовили к переводу на другую стоянку, в село Лагери.

Из числа наиболее подготовленных солдат отобрали 30 человек, чтобы учить их на унтер-офицеров. В их число попал и я. Мне не хотелось идти в учебную команду, но взводный, которого я искренне уважал за его ум, порядочность и любовь к солдату, уговорил меня пойти учиться.

— На фронте ты еще, друг, будешь, — сказал он, — а сейчас изучика лучше глубже военное дело, оно тебе пригодится. Я убежден, что ты будешь хорошим унтер-офицером.

Потом, подумав немного, добавил:

— Я вот не тороплюсь снова идти на фронт. За год на передовой я хорошо узнал, что это такое, и многое понял... Жаль, очень жаль, что так глупо гибнет наш народ, и за что, спрашивается?..

Больше он мне ничего не сказал. Но чувствовалось, что в душе этого человека возникло и уже выбивалось наружу противоречие между долгом солдата и человека-гражданина, который не хотел мириться с произволом царского режима. Я поблагодарил его за совет и согласился пойти в учебную команду, которая располагалась в городе Изюме Харьковской губернии. Прибыло нас туда из разных частей около 240 человек.

Разместили всех по частным квартирам, и вскоре начались занятия. С начальством нам не повезло. Старший унтер-офицер оказался хуже, чем Бородавко. Я не помню его фамилии, помню только, что солдаты прозвали его Четыре с половиной. Такое прозвище ему дали потому, что у него на правой руке указательный палец был наполовину короче. Однако это не мешало ему кулаком сбивать с ног солдата. Меня он не любил больше, чем других, но бить почему-то избегал. Зато донимал за малейшую оплошность, а то и, просто придравшись, подвергал всяким наказаниям.

Никто так часто не стоял «под шашкой при полной боевой», не перетаскал столько мешков с песком из конюшен до лагерных палаток и не нес дежурств по праздникам, как я. Я понимал, что все это — злоба крайне тупого и недоброго человека. Но зато я был рад, что он никак не мог придрататься ко мне на занятиях.

Убедившись, что меня ничем не проймешь, он решил изменить тактику, может быть, попросту хотел отвлечь от боевой подготовки, где я шел впереди других.

Как-то он позвал меня к себе в палатку и сказал:

— Вот что, я вижу, ты парень с характером, грамотный, и тебе легко дается военное дело. Но ты москвич, рабочий, зачем тебе каждый день потеть на занятиях? Ты будешь моим нештатным переписчиком, будешь вести листы нарядов, отчетность по занятиям и выполнять другие поручения.

— Я пошел в учебную команду не за тем, чтобы быть порученцем по всяким делам, — ответил я, — а для того, чтобы досконально изучить военное дело и стать унтер-офицером.

Он разозлился и пригрозил мне:

— Ну, смотри, я сделаю так, что ты никогда не будешь унтер-офицером!..

В июне подходил конец нашей учебы и должны были начаться экзамены. По существовавшему порядку лучший в учебной команде получал при выпуске звание младшего унтер-офицера, а остальные выпускались из команды вице-унтер-офицерами, то есть кандидатами на унтер-офицерское звание. Товарищи мои не сомневались, что я должен был быть первым и обязательно получить при выпуске звание младшего унтер-офицера, а затем вакантное место отделенного командира.

Какая же была для всех неожиданность, когда за две недели до выпуска мне было объявлено перед строем, что я отчисляюсь из ко-

манды за недисциплинированность и нелояльное отношение к непосредственному начальству. Всем было ясно, что Четыре с половиной решил свести со мной счеты. Но делать было нечего.

Помощь пришла совершенно неожиданно. В нашем взводе проходил подготовку вольноопределяющийся Скорино, брат заместителя командира эскадрона, где я проходил службу до учебной команды. Он очень плохо учился и не любил военное дело, но был приятный и общительный человек, и его побаивался даже наш Четыре с половиной. Скорино тут же пошел к начальнику учебной команды и доложил о несправедливом ко мне отношении.

Начальник команды приказал вызвать меня к нему. Я порядком перетрусил, так как до этого никогда не разговаривал с офицерами. Ну, думаю, пропал! Видимо, дисциплинарного батальона не миновать.

Начальника команды мы знали мало. Слышали, что офицерское звание он получил за храбрость и был награжден почти полным бантом Георгиевских крестов. До войны он служил где-то в уланском полку вахмистром сверхсрочной службы. Мы его видели иногда только на вечерних поверках, говорили, что он болеет после тяжелого ранения.

К моему удивлению, я увидел человека с мягкими и, я бы сказал, даже теплыми глазами и простодушным лицом.

— Ну что, солдат, в службе не везет? — спросил он и указал мне на стул.

Я стоял и боялся присесть.

— Садись, садись, не бойся!.. Ты, кажется, москвич?

— Так точно, ваше высокоблагородие, — ответил я, стараясь прозвонить каждое слово как можно более громко и четко.

— Я ведь тоже москвич, работал до службы в Марьиной Роще, по специальности краснодеревщик. Да вот застрял на военной службе, и теперь, видимо, придется посвятить себя военному делу, — мягко сказал он.

Потом помолчал и добавил:

— Вот что, солдат, на тебя поступила плохая характеристика. Пишут, что ты за четыре месяца обучения имеешь десяток взысканий и называешь своего взводного командира «шкурой» и прочими нехорошими словами. Так ли это?

— Да, ваше высокоблагородие, — ответил я. — Но одно могу доложить, что всякий на моем месте вел бы себя так же.

И я рассказал ему правдиво все, как было.

Он внимательно выслушал и сказал:

— Иди во взвод, готовься к экзаменам.

Я был доволен тем, что так хорошо все кончилось. Однако при выпуске мне не дали первенства и я был выпущен из учебной команды наравне со всеми в звании вице-унтер-офицера.

Оценивая теперь учебную команду старой армии, я должен сказать, что, в общем, учили в ней хорошо, особенно это касалось строевой подготовки. Каждый выпускник в совершенстве владел конным делом, оружием и методикой подготовки бойца. Не случайно многие унтер-офицеры старой армии после Октября стали квалифицированными военачальниками Красной Армии.

Что касается воспитательной работы, то в основе ее была муштра. Будущим унтер-офицерам не прививали навыков человеческого обращения с солдатами, не учили их вникать в душу солдата. Преследовалась одна цель — чтобы солдат был послушным автоматом. Дисциплинарная практика строилась на жестокости. Телесных наказаний уставом не предусматривалось, но на практике они применялись довольно широко.

О русской армии написано много, и я не считаю нужным повторяться. Коснусь лишь некоторых моментов, на мой взгляд, представляющих интерес.

Что было наиболее характерным для старой царской армии? Прежде всего отсутствие общности и единства между солдатской массой и офицерским составом.

В ходе войны, особенно в 1916-м и начале 1917 года, когда вследствие больших потерь офицерский корпус укомплектовывался представителями трудовой интеллигенции, грамотными рабочими и крестьянами, а также отличившимися в боях солдатами и унтер-офицерами, эта разобщенность в подразделениях (до батальона или дивизиона включительно) была несколько сглажена. Однако она полностью сохранилась в соединениях и объединениях. Офицеры и генералы, не имевшие никакой близости с солдатской массой, не знавшие, чем живет и дышит солдат, были чужды солдату.

Это обстоятельство, а также широко распространенная оперативно-тактическая неграмотность высшего офицерского и генеральского состава привели к тому, что командиры эти, за исключением немногих, не пользовались авторитетом у солдата. В среднем же звене офицерского состава, наоборот, под конец войны было много близких солдату по духу и настроению офицеров. Таких командиров солдаты любили, доверяли им и шли за ними в огонь и воду.

Основным фундаментом, на котором держалась старая армия, был унтер-офицерский состав, который обучал, воспитывал и цементировал солдатскую массу. Кандидатов на подготовку унтер-офицеров отбирали тщательно. Отобранные проходили обучение в специальных учебных командах, где, как правило, была образцово поставлена боевая подготовка. Вместе с тем, как я уже говорил, за малейшую провинность тотчас следовало дисциплинарное взыскание, связанное с рукоприкладством и моральными оскорблениями. Таким образом, будущие унтер-офицеры по выходе из учебной команды имели хорошую боевую подготовку и в то же время владели «практикой» по

воздействию на подчиненных в духе требований царского воинского режима.

Надо сказать, что офицеры подразделений вполне доверяли унтер-офицерскому составу в обучении и воспитании солдат. Такое доверие, несомненно, способствовало выработке у унтер-офицеров самостоятельности, инициативы, чувства ответственности и волевых качеств. В боевой обстановке унтер-офицеры, особенно кадровые, в большинстве своем являлись хорошими командирами.

Моя многолетняя практика показывает, что там, где нет доверия младшим командирам, где над ними существует постоянная опека старших офицеров, там никогда не будет настоящего младшего командного состава, а следовательно, не будет и хороших подразделений.

В первых числах августа из полка пришел приказ о направлении окончивших учебную команду по маршевым эскадронам. Группу в 15 человек приказано было отправить прямо на фронт — в 10-ю кавалерийскую дивизию. В списке этих 15 человек я стоял вторым и несколько этому не удивился, так как хорошо знал, чьих это рук дело.

Когда читали список перед строем команды, Четыре с половиной улыбался, давая понять, что от него зависит судьба каждого из нас. Потом нас накормили праздничным обедом и приказали собираться на погрузку. Взяв свои вещевые мешки, мы пошли на место построения фронтовой команды, а через несколько часов наш эшелон отправился в сторону Харькова.

Ехали мы очень долго, часами простаивая на разъездах, так как шла переброска на фронт какой-то пехотной дивизии. С фронта везли тяжелораненых, и санитарные поезда также стояли, пропуская эшелоны на фронт. От раненых мы многое узнали, и в первую очередь то, что наши войска очень плохо вооружены. Высший командный состав пользуется дурной репутацией, и среди солдат широко распространено мнение, что в верховном командовании сидят изменники, подкупленные немцами. Кормят солдат плохо. Эти известия с фронта действовали угнетающе, и мы молча расходились по вагонам.

Нас высадили в районе Каменец-Подольского. Одновременно выгрузили и маршевое пополнение для 10-го гусарского Ингерманландского полка и около сотни лошадей для нашего 10-го драгунского Новгородского полка со всей положенной амуницией. Когда разгрузка подходила к концу, раздался сигнал воздушной тревоги. Все быстро укрылись, кто где мог. Самолет-разведчик противника покружил над нами и ушел на запад, сбросив несколько небольших бомб. Был убит солдат и ранено пять лошадей.

Это было наше первое боевое крещение. Из района выгрузки все пополнение походным порядком было направлено на реку Днестр, где в это время наша дивизия стояла в резерве Юго-Западного фронта.

Прибыв в часть, мы узнали, что Румыния объявила войну Германии и будет воевать на стороне русских против немцев. Ходили

слухи, что наша дивизия должна в скором времени выступить непосредственно на фронт, но на какой именно участок, никто не знал.

В начале сентября дивизия, совершив походный марш, была сосредоточена в Быстрицком горно-лесистом районе, где она принимала непосредственное участие в боях, главным образом в пешем строю, так как условия местности не позволяли производить конных атак.

Все чаще приходили тревожные сведения. Наши войска несли большие потери. Наступление, по существу, выдохлось, и фронт остановился. Плохо шли дела и на фронте румынских войск, которые вступили в войну слабо подготовленными, недостаточно вооруженными, и в первых же сражениях с немецкими и австрийскими войсками понесли тяжелые потери.

Среди солдат нарастало недовольство, особенно когда приходили письма из дому, сообщавшие о голоде и страшной разрухе. Да и та картина, которую мы наблюдали в селах прифронтовой полосы на Украине, в Буковине и Молдавии, говорила сама за себя. До каких же бедствий дошли крестьяне под гнетом царя, по безрассудству которого вот уже третий год лилась кровь крестьян и рабочих! Солдаты уже понимали, что они становятся калеками и гибнут не за свои интересы, а ради «сильных мира сего», за тех, кто их угнетал.

В октябре 1916 года мне не повезло: находясь вместе с товарищами в разведке на подступах к Сайе-Реген в головном дозоре, мы напоролась на мину и подорвались. Двоих тяжело ранило, а меня выбросило из седла взрывной волной. Очнулся я только через сутки в госпитале. Вследствие тяжелой контузии меня эвакуировали в Харьков.

Выйдя из госпиталя, долго еще чувствовал недомогание и, самое главное, плохо слышал. Медицинская комиссия направила меня в маршевый эскадрон в село Лагери, где с весны стояли мои друзья по новобранческому эскадрону. Конечно, я был очень рад этому обстоятельству.

Попал я из эскадрона в учебную команду молодым солдатом, а вернулся с унтер-офицерскими лычками, фронтовым опытом и двумя Георгиевскими крестами на груди, которыми был награжден за захват в плен немецкого офицера и контузию.

Беседуя с солдатами, я понял, что они не горят желанием «нюхать порох» и не хотят войны. У них были уже иные думы — о земле и мире. В конце 1916 года среди солдат все упорнее стали ходить слухи о забастовках и стачках рабочих в Петрограде, Москве и других городах. Говорили о большевиках, которые ведут борьбу против царя, за мир, за землю и свободу для трудового народа. Теперь уже и сами солдаты стали настойчиво требовать прекращения войны. Правда, это были пока лишь тайные разговоры.

Несмотря на то, что я был унтер-офицером, солдаты относились ко мне с доверием и часто заводили серьезные разговоры. Конечно, тогда я мало разбирался в политических вопросах, но считал, что война

выгодна лишь богатым и ведется в интересах правящих классов, а мир, землю, волю русскому народу могут дать только большевики, и никто больше. Это в меру своих возможностей я и внушал своим солдатам, за что и был вознагражден ими.

Вот как это случилось.

Рано утром 27 февраля 1917 года эскадрон, располагавшийся в селе Лагери, был поднят по тревоге. Выстроились недалеко от квартиры командира эскадрона — ротмистра барона фон дер Гольца. Никто, конечно, ничего не знал. Нашим взводным командиром был поручик Киевский.

— Ваше благородие, куда нас собрали по тревоге? — спросил я его.

На мой вопрос он ответил вопросом:

— А вы как думаете?

Я сказал, что солдаты должны знать, куда их ведут, тем более что нам выдали боевые патроны.

— Ну что же, патроны могут пригодиться.

Разговор был прекращен появлением ротмистра барона фон дер Гольца. Это был боевой ротмистр. Он имел золотое оружие, солдатский Георгиевский крест и много других боевых орденов. Но человек был отвратительный, всегда злобно разговаривал с солдатами, которые его не любили и боялись.

После команды «смирно» ротмистр поздоровался с эскадроном.

Вытянув колонну по три, барон фон дер Гольц подал команду «рысью». Эскадрон шел по дороге на город Балаклею, где стоял штаб 5-го запасного кавалерийского полка. Подходя к плацу полка, мы увидели, что там уже в развернутом строю стоят киевские драгуны и ингерманландские гусары. Наш эскадрон также построился развернутым строем. Подходили на рысях другие части. Никто не знал, в чем дело...

Вскоре все стало ясно. Откуда-то из-за угла показались демонстранты с красными знаменами. Наш командир эскадрона, пришпорив коня, карьером поскакал к штабу полка. Другие командиры эскадрона последовали за ним, а из штаба в это время вышла группа военных и рабочих.

Высокий солдат громким голосом обратился к собравшимся. Он сказал, что рабочий класс, солдаты и крестьяне России не признают больше царя Николая II, не признают капиталистов и помещиков. Русский народ не желает продолжения кровавой империалистической войны, ему нужны мир, земля и воля. Солдат закончил свою короткую речь лозунгами: «Долой царизм! Долой войну! Да здравствует мир между народами! Да здравствуют Советы рабочих и солдатских депутатов! Ура!»

Солдатам никто не подавал команды. Они нутром своим поняли, что им надо делать. Со всех сторон неслись крики «ура». Солдаты смешались с демонстрантами...